

УДК 821.161.1.09

## А.Т. ТВАРДОВСКИЙ И «МОЛОДЫЕ» ПОЭТЫ 50–60-Х ГОДОВ

© 2013 В. М. Акаткин

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 30.08.2013

**Аннотация:** Статья посвящена идейно-художественному самоопределению А.Т. Твардовского после Великой Отечественной войны, его оценкам молодых поэтов «оттепельного» поколения.

**Ключевые слова:** литературный процесс, Всесоюзное совещание молодых писателей, «оттепель», поэзия, критика, дневники, письма.

**Annotation:** The article is devoted to the ideological and artistic self-determination of A.T. Tvardovsky after the Great Patriotic war, his appreciation of young poets of the “ottepel” generation.

**Key words:** literary process, all-union conference of young writers, оттеpel (thaw), poetry, criticism, diaries, letters.

Все писатели, естественно, бывают и начинающими, и молодыми. «Твардовского мы “начинающим” не помним, — писал С. Маршак. — Вполне взрослым человеком с немалым жизненным опытом и зрелым чувством ответственности вошел он смолodu в литературу» [1,12]. Однако был он, был и тем, и другим, и в начальную пору свою столько претерпел от братьев-писателей и властей, что запомнилось на всю жизнь. О юношеских стихах он говорить не любил, долго их не печатал (многие так и остались в смоленских газетах), а счет своим писаниям вел со «Страны Муравии».

Тогда, на рубеже 20–30-х, старших уже принято было слушать, даже если разница в возрасте была минимальной. Твардовский, как отмечали многие, благодаря сильному характеру и уверенному поведению, казался старше своих лет. Он, как ни странно, будучи сам начинающим, назначался в комиссии по творческим конкурсам (и сам участвовал в них), был литературным консультантом при областной газете «Рабочий путь», ответственным секретарем журнала «Западная область», членом редколлегий различных изданий, авторитетно выступал на селькоровских съездах и литературных декадах и т. д.

В годы войны фронтовая газета «Красноармейская правда», где он служил и на страницах которой печатались главы «Книги про бойца», становится своеобразной школой творчества для молодых поэтов в погонах. Он не только редактирует их статьи и стихи, но и работает с ними вживую, выступает на пленумах ССП и фронтовых совещаниях по вопросам литературы и искусства, обозначая своими суждениями и творчеством тот уровень, на который должна

ориентироваться поэзия, какой должна быть литература, чтобы воюющий народ сердцем принял ее. С его непосредственным участием печатаются многочисленные «Почтения солдату» уставного или творческого плана, по стилю очень близкие «Василию Теркину».

*Нынче, братцы, мне для вас  
Речь вести придется,  
Что присягою у нас,  
У солдат, зовется. [2]*

Великая Отечественная приближалась к своим последним рубежам. За грохотом и дымом разрывов Твардовскому уже приоткрывался новый исторический период, быть может, более сложный, чем уходящий. И ему необходимы будут новые песни, иное, обновленное слово, другие интонации и ритмы, способные вобрать пафос Победы, скорбь утрат и благо мира. В заключительной главе «От автора», написанной в самый день Победы, о поэме говорится как уже об отошедшем, отдаляющемся прошлом: чаша горя выпита до дна, теперь другое.

*И как будто оглушенный  
В наступившей тишине,  
Смолкнул я, певец смущенный,  
Петь привыкший на войне.*

*В том беды особой нету:  
Песня, стало быть, допета.  
Песня новая нужна,  
Дайте срок, придет она. [3; II, 327]*

Особое состояние поэта, оглушенного не канонадой и взрывами бомб, а тишиной, передает его статья «Всем существом», написанная на второй день после Победы. Она звучит как исповедь и как пророчество, как самые золотые слова русской литературы, в ней слышатся при-

зывно-одические интонации статьи А. Блока «Интеллигенция и революция». Трудно удержаться, чтобы не прислушаться к ее высокой и глубоко личной музыке: «Я — поэт, служивший, как мог, своим стихом в эти грозные и славные годы делу Родины. И в день торжества к моему сердцу, вдобавок к тому волнению, что переживает каждый, приходит еще волнение певца, которому нельзя жить песней, постаревшей внезапно и, может быть, непоправимо.

Найдешь ли ты в себе силы, чтобы петь не тогда, когда народ доверял твоему голосу в горьких и страшных испытаниях войны, а тогда, когда он будет слушать тебя, справляя свое великое торжество?

И верится, что силы найдутся, потому что не один на один ты стоишь перед этой задачей. Гордое терпение, неслабеющий дух родного народа и его неумирающая вера в торжество правды питали твой слабый дар в годы жестокой борьбы, подсказывали тебе нужные слова, поднимали твой голос.

Слушай же всем сердцем, всем своим существом, слушай то, чем живет сегодня народ, свершивший всемирный подвиг в войне и готовый свершать иные подвиги, предсказанные ему историей» [4].

Тут поставлена задача на всю оставшуюся жизнь, тут заложена миссия «Нового мира», тут просвечивает драма нашего послевоенного существования. Ах, как позарез нужны были для прорыва в мирные дали те самые «стриженные ребята», что ушли на дно войны, как нужна была ему молодость и творческие силы теперь, когда все оживало под мирным небом...

После войны, несмотря на тоталитарную подмороженность, повсюду накапливались обновительные силы, в том числе и в литературе. Теперь отчетливо видно: происходила смена эпох и поколений, смена вкусов и ценностей, осадное положение разбавлялось относительными свободами и даже вольностями, военный аскетизм уживался с принципом «красиво жить не запретишь». Старшее поколение поэтов возводило в классики, в уважаемые портреты на стенах — почти наравне с членами Политбюро, а их живые, публичные места занимали молодые. Кто они? Что несут в себе их звонкие, задорные стихи, взрывами аплодисментов встречаемые в залах и на стадионах? Твардовский стал пристально присматриваться и к тем молодым, которые вернулись из окопов и стали перебеливать и печатать свои стихи из фронтовых блокнотов, и к новой волне, как говорится, не нюхавших пороха и пуда соли не съевших. У каждого поколения, записывает он в дневнике, «должен быть свой Октябрь, свои 20-е или тридцатые годы, или 41–45 годы,

привязанные к душе нитями детства и юности... или иным периодом сильнейших и живейших впечатлений и затем сознательно освоенные через посредство всего огромного материала жизни, теории, опыта своего и других мастеров и т. д.» [5, 145]. Подобного в конце 50-х он не увидел: если «говорить по правде о состоянии литературы — деградация не только мастерства, но просто культуры литературного письма, фальшивомонетничество, безгласие критики в обширном слове, объявление желаемого (желаемого ли?) за действительное» [5, 146]. В «Наброске несостоявшейся речи на I съезде писателей РСФСР» Твардовский спрашивал: «Можем ли мы назвать за последнее время какой-нибудь сборник, который, хоть и не равнялся бы по воздействию на сердца читателей, скажем, лирике Есенина в лучшей ее части, но стихи которого переходили бы из рук в руки, заучивались наизусть, были бы на устах нашей молодежи, пользовались бы повседневным спросом?» [6, 154]. Вопрос почти риторический.

Излюбленная и давняя мысль Твардовского, которая озвучивалась им не однажды: «Надо каждому из нас думать про тех своих людей, которых писатель всегда имеет в виду. Какой-то контингент человеческий подвластен только тебе...» [7]. В мае 1947 года он был избран в бюро комиссии по работе с молодыми писателями (зам. председателя), отчасти поэтому тема «молодых» и «молодости» становится у него одной из главных и в творчестве, и в попутных размышлениях. Говоря о двух сторонах советской поэзии, он подчеркивает: «Во-первых, это ясное представление о круге читателей, для которого поэт пишет... Другая сторона — объективное существование этой поэзии в народе» [8]. Он ратует за упрочение традиций не только великой русской литературы, но и советской. Поэтому «взор наш должен быть устремлен не только на нынешнее пополнение, но и на ту смену, в которой завтрашний день нашей литературы» [9].

Многим запомнилось (с каким знаком — другой вопрос) его выступление на I Всесоюзном совещании молодых писателей 4 марта 1947 года. Тут он дал волю своему давнему неприятию узколитературного, кружкового значения творчества, поглощенного «мелкими секретами ремесла», но не говорящего ничего существенного, важного для всех. «Беда молодого поэта обычно начинается с того, что он адресует не к народу, а к кругу своих сверстников-стихотворцев или к поэтам, которые так или иначе импонируют ему своим творчеством или добрым отношением к нему. Добыть же доброе отношение читателя гораздо труднее» [10, 310]. К подобному убеждению он пришел еще в конце 20-х годов, не принимая «ленинградскую школу», литературности, по-

этизмов, намеренно прозаизируя стих, усиленно обращая его к существенной объективной теме. «Страной Муравией» и «Василием Теркиным» он проверил и доказал свою установку и теперь с полным правом мог говорить молодым: «Забываетесь о главном, а остальное приложится. Надо сказать народу главное и существенное, а остальное, — я имею в виду форму, средства выражения, — будет найдено» [10, 313].

Во многих его выступлениях конца 40-х начала 50-х годов слышна не только отеческая забота о молодых, но и глубокая тревога об их становлении и творческой судьбе: как и чему они учатся, какие традиции наследуют, какие контакты у них с происходящим, какого читателя они обретают и т.д. (см. 11-15). Последнее для него особенно важно: «Поэт, как общественное явление, начинается тогда, когда его читают те, кто стихов обычно не читает. До тех пор, пока его творчеством интересуются только друзья по ремеслу, — это не общественное явление» [11]. Дискуссионность этого заявления очевидна, однако правоту его оспорить невозможно. Молодые для Твардовского — «это наше литературное завтра» [13], и он не скрывал своей личной заинтересованности в нем: «Я давно не председатель молодежной комиссии, но остаюсь писателем, заинтересованным в том, кто будет после нас и наряду с нами» [13]. В данном случае речь шла о Литературном институте: «Может ли институт быть курятником, рассадником мелких тайн ремесла... Я считаю, что люди должны учиться в общечеловеческих вузах» [13]. И снова дискуссионно, но если подумать... Ведь Твардовский всегда считал главным учителем жизнь, а главным для серьезного писателя — открыть в ней что-то новое, то, чего раньше не было. А форма? «Я убежден в том, что форма является из потребности, из страстной убежденности автора... Вот из этой страстности, из этой убежденности и является форма, и потому мне всегда казалось, что мертво звучат слова о так называемой технологии стиха. Мне всегда казался этот разговор скучным» [15]. Он может быть оправдан, «когда есть налицо глубокая заинтересованность в большой теме нашей современности. Эту горячую заинтересованность мы называем идейностью». А «идейный человек — это горячо любящий человек, всё существо которого прикиннуто верой, убеждением. И когда этого нет, — нет и формы» [15]. Как видно, все точки над *i* поставлены, но далеко не всеми это будет принято. Во-первых, идейным может быть и глубоко ненавидящий. Во-вторых, можно быть влюбленным в самого себя, с чем Твардовский нередко сталкивался в стихах молодых. Е. Ю. Кучинскому он писал: «В отношении содержания Вам не следует застревать надолго в “юношеской

романтике” (я молодой, влюбленный, хороший, немножко взбалмошный, но посмотрите, какой в общем милый!). Смелее продвигаться в сторону, так сказать, объективной темы» [16, 162]. В статье «Поэзия Михаила Исаковского» он корректирует свою устойчивую мысль о проникновении стихов поэта в массы — это еще не главный показатель его значимости, это «лишь первая примета значительности поэтического явления, при отсутствии которой разговор может иметь скорее внутрилитературный, специальный характер... Такая примета сопутствует явлениям поэзии самого различного толка — от Д. Бедного до Е. Евтушенко, как бы мы ни относились к тому или другому» [17, 212].

Д. Бедный был уже далеко, в прошлом, и уже пережил высшие моменты своей популярности. Е. Евтушенко стремительно ее обретал, поэтому стал центральной фигурой в размышлениях Твардовского о молодых и о современной поэзии вообще. Подлинное дитя оттепели, он нес в своих стихах не только дразнящую раскованность и самолюбование, но и заботы и утечи «среднего», «массового», не героического, не примерного, а обыкновенного человека. Гибкость, пластичность вхождения в любую среду, яркость внешнего «оперения», рискованная интимность признаний, молодежный жаргон — все это отдавало скандалом и сенсацией, для публики чрезвычайно приманчивыми. Антикультуровские выпады обеспечили ему первенство среди советских поэтов на Западе. Евтушенко становился явлением, осмыслить которое было непросто, но необходимо. В письмах и дневниковых записях Твардовского это, пожалуй, наиболее часто упоминаемое имя.

50-е годы — время необычайно интенсивной декларативности в поэзии, прогнозирования собственного творчества, обнажения позиций и программ. Твардовский, не чуждый сам этой декларативности, увидел в ней важную примету обновления: «Бывают времена, эпохи, периоды, моменты в развитии искусства, когда рассуждения и споры об искусстве... важнее самого искусства — на время, конечно, — это тоже жизнь искусства, его функция» [18, 145]. Поэтому он считал, что необходимо «отринуть все недомолвки и умолчания» не только в разговорах о культе личности, но и преодолеть «безгласие» литературной критики. Он чувствует «озноб ответственности» от признаний, «какие нужно сделать, держась на полунедосказе» [18, 173]. После чтения последних глав поэмы «За далью — даль» на секретариате СП он записывает в дневнике: «Само собой, я далек от такой юношеской самонадеянности и наивности, чтобы предполагать, что мною вполне выражено историческое содержание этих лет в жизни нашей родины, в сознании своего поколения» [18, 179]. Но «так это было на земле» сказано. И

Твардовский испытывает радость высвобождения из плена «заранее данного, обязательного», сверху предустановленного: «Самое сладкое и самое трудное — думать. Думать самому (какое это счастье человеческое)... Я должен уже писать только то, что думаю на самом деле» [18, 145, 161]. Его дневниковый самоанализ порой озадачивает беспощадной откровенностью и прямоотой, но это давало ему право столь же прямо говорить о других.

Твардовский рано стал замечать, что поэзия XX века, по сравнению с классической, все более и более погружалась в формальные поиски, невольно затемняя содержание, а то и пренебрегая им, отдавая все силы звуковым и словесным экспериментам. И он занял другую, подчас крайнюю позицию, склоняясь к простоте, незаметности формы. Любопытно признание в Автобиографии о том, как школьный учитель наставлял его следовать современной моде, чтобы «ни с какого конца нельзя было понять, что и про что в стихах написано, — таковы современные литературные требования» [19, 21]. Ничего у него из этого не вышло, как он ни старался. И он рано уверился в первостепенном значении «существенной объективной темы» перед стиховой технологией. В юношеском стихотворении «Думы о далеком» он писал:

*Никогда, никто мне не повторит  
Ни строкой, ни краской эту даль. [20]*

Но тогда зачем нужна поэзия? Достаточно всего того, что есть в мире. Однако поэзия, искусство вообще — неповторимый и законный отклик словом и краской на жизнь и на все ее дали. И «безответственность, беззаботность относительно формы очень часто влечет за собой безразличие читателя к содержанию произведения» [17, 388].

Центральной фигурой молодой смены, о которой так тревожился Твардовский, закономерно стал Е. Евтушенко — наиболее плодовитый, яркий, дискуссионный, эпатажирующий советскую публику поэт 50–60-х годов. Полемический диалог с ним и о нем — важная страница в писательской и редакторской биографии Твардовского. Жаль, конечно, что этот диалог не отразился в их личной переписке, однако в письмах к другим адресатам он редко забывает о Евтушенко — поводы всегда находились. Наиболее полно он высказался о нем в письмах к А. Абрамову, В. Пановой и в дневниковых записях. Из всего этого следует, что идейный советский монолит дал трещину, раскололся на противоборствующие лагеря: партийных мастодонтов и либеральствующих вольнодумцев, кондовых традиционалистов и смелых новаторов, неколебимых староверов и мятущихся искателей, а если выразить в именах, то это будут Софронов и Евтушенко, Кочетов и Вознесенский. Ни один из лагерей

Твардовскому не близок: «Хрен редьки не слаще». В идеале он хотел бы видеть на месте первого поэта современности Пушкина или Некрасова. Во всех его оценках и требованиях — и поэт-государственник, и крупная личность, и редактор ведущего журнала страны, собирающего вокруг себя все передовое и талантливое.

Что больше всего вызывало критическое отношение Твардовского к тем и другим? Либо отсутствие «страстной убежденности» вообще, либо ее невоплощенность в форме, либо механическое, пусть и мастеровитое, стихописание, либо показная, декларативная, казенная идейность, словно желтая кость выпирающая из стиха. Подобные мысли находим в его ранних дневниках (запись от 9 апреля 1927 года): «Я понимаю так, что если чувство оправдывает то, что пишешь, и достаточно. Чувство есть, а умение передать будет» [21, 301]. В расхождении убежденности и дела, кстати, таилась большая опасность и для социализма, и для судьбы СССР — мы не могли отстоять их перед кучкой реформаторов (как сейчас наше образование). Некрасовское «Дело прочно, когда под ним струится кровь», как и пастернаковское «Там дышит почва и судьба», полагаем, были для Твардовского своеобразным мерилем в оценке каждого современного поэта.

Детальный разговор об «оттепельных» молодых начался благодаря рецензии А.М. Абрамова на стихи Е. Евтушенко, посланной в редакцию «Нового мира» летом 1959 года. На нее ответил сам главный редактор, видимо, она его заинтересовала не сама по себе, а как повод для ее доработки в большую проблемную статью о современной поэзии и, конечно, о ее будоражащем флагмане Е. Евтушенко.

Твардовский сразу же отвергает абрамовскую характеристику — «молодой талантливый поэт»: «Не нужно так свободно применять эпитеты “талантливый” и т. п. в отношении данного автора» [21, 197]. Взамен он предлагает свою, более осторожную, характеристику — «молодой способный поэт» (хотя понятие «молодой» применительно к поэту считал позднее излишним). Почему? Талант — это нечто бесспорное, общепризнанное, но применительно к Евтушенко об этом рано говорить. И еще: «Талант — это прежде всего личность, а личности там как раз и не хватает» [21, 197]. И не только в содержании стихов, но прежде всего в их адресованности, на что Твардовский обращает особое внимание. Он отмечает неглубокость стихов Евтушенко, необеспеченность их «тылов», т. е. в них нет серьезного знания большой народной жизни. Отсюда и несовершенства формы, небрежность в отделке стиха, неточная, экстравагантная рифмовка: он рифмует, например, не только «кепка — кедры», но и «Европу

с гвоздем». Много тут «от молодости, от моды, от кокетства, от отсутствия зрелой думы, серьезной озабоченности жизненно важными вопросами» [21, 197]. Ему зря навязывают «идейно-порочные мотивы», в чем повинны критика и читательские «круги», превозносящие его: «учащаяся молодежь, неплохие юноши и девушки, которые предпочитают “утонченность” и “надлом” Евтушенки прямолинейности и идейной безупречности, скажем, Софронова. Вот хорошо бы растолковать, что хрен редьки не слаще» [21, 197]. И второй совет, который еще больше смутил Абрамова: не следует в разговоре о Евтушенке опираться на «пошловатую лирику» симоновского цикла «С тобой и без тебя».

Подобная прямота и жесткость в оценках озадачили Абрамова, и он вряд ли был готов к продолжению разговора. Твардовский пытался «подстелить соломки», нашел одобрительные слова для рецензии: она, дескать, и сейчас «хороша по основной своей тональности, благожелательности к молодому способному поэту, но очень уж лаконична», поэтому необходима доработка, «следует с большой исчерпывающей полнотой обговорить все, а не в порядке “затравки”» [21, 196]. Абрамов не исполнил пожеланий редактора «Нового мира» и статьи о Евтушенке не прислал. Он и не мог ее написать, потому что главное о нем сказал сам Твардовский. А спорить с любимым автором «Теркина» профессор не отважился. Кстати, за все последующие годы Твардовский ни разу не упомянул абрамовский «должок», лишь однажды неопределенно, видимо, без особой надежды, предложил: «Не напишите ли чего-нибудь для “Нового мира”?» [21, 203]. Казалось бы, евтушенковский сюжет завершился, однако он продолжился в дневнике и письмах Твардовского к другим авторам.

Е. Кучинского он предостерегает от чрезмерного увлечения формой, неточной рифмовкой в духе Евтушенки, «когда рифмы, как пуговицы на одной нитке, еле держатся». Новаторство подобного рода «поверхностное, дешевое и недолговечное» [16, 162-163]. О «непритязательной» евтушенковской рифмовке (ответственно — естественно, сохранить — похоронить, постаменты — аплодисменты и др.) он напоминает М. Лисянскому, вскрывая ее истоки: «Плохая рифмовка обнаруживается при отсутствии яркого, резкого, значительного содержания, мысли» [16, 213].

В письме к В. Пановой Твардовский подробно рассказывает о домашнем визите Евтушенки с целой книгой новых стихов для суда и одобрения: «Стоически, благородно выдержал мою двухчасовую “разборку”, почти без возражений, и в результате мы намерены дать цикл его стихов (шесть стихотворений в № 7 “Нового мира” за

1962 г. — В. А.). Да, человек он, по-видимому, талантливый, но мука с ним в том, что он не знает истинных причин своего “успеха”, на ощупь идет к серьезности и взрослости (но идет!), отягчен самообожанием, мало начитан даже в поэзии, небрежен к слову, не испытывает стыда от строчек и слов случайных, первых попавшихся и т.п. Но все же дай ему бог понять кое-что и оставить позади свою, как говорится, затянувшуюся молодость» [22, 246]. Этот укор в невзрослости писаний Евтушенки прозвучит и в 1970 г. (письмо к А. Прийме): «Конечно, в 22 года можно подражать и молодому Маяковскому, и пожившему уже Евтушенке», но это скольжение по поверхности [22, 350].

Из всего, что говорил и писал Твардовский о Евтушенке, вовсе не следует, что он был глух к молодым и не печатал их в «Новом мире». Факты, уже давно известные, напрочь опровергают ходячие либеральные мнения. Так, Е. Арэнзон пишет: «Бродского Твардовский, по-видимому, просто не знал, это прошло мимо его сознания». Ни Вознесенского, который «был на виду и вблизи на протяжении четверти века... ни всей молодой поросли поэтического шестидесятничества Твардовский старался не замечать» [23, 56]. Причина кроется, дескать, в его консервативной эстетике: реализм, народность, простота, понятность. Поэтому «дерзкая метафоричность молодой поэзии, будоражившая тогда умы и сердца людей, здесь (в “Новом мире”. — В. А.) была не желательна» [23, 56-57]. Твардовский ведь так и не принял «даже облегченный вариант имажинизма Есенина» [23, 57]. Так, на подтасовках, рождаются недобрые легенды. Кто, как не Твардовский, защищал Бродского — вплоть до разрыва с А. Прокофьевым? Кто по возможности печатал Евтушенку (из двух номеров журнала его подборки изъела цензура), кто рекомендовал его стихи к изданию в «Библиотеке поэта»? (см. письмо М.Б. Козьмину от 20 сентября 1961 г. [22, 232]). Да, к Вознесенскому, по свидетельству А. Туркова, Твардовский «действительно был очень холоден» [23, 72]. Было за что (тут нет места вникать в подробности). Печатал А. Жигулина, А. Прасолова и других, собирался выступить с докладом «О поэзии молодых» на секретариате СП: «Сохранился набросок этого несостоявшегося выступления», в котором он «подвергал сомнению само понятие “молодости” в литературе», хотел «остановиться на стереотипах и враждебной настороженности критики к новому поколению в поэзии», ко всему, «что не похоже на уже привычный образ выражения» [24, 534].

Реальную сложность взаимоотношений Твардовского с молодыми поэтами (и не только с ними), и не только с поэтами вообще, а со временем, с обществом, с политической и со-

циальной системой предстоит еще изучать и изучать. И самая главная «заковыка» тут — смена идеалов и ценностей, мимикрия советского строя и социализма, победительное распространение массовой культуры. Почему Твардовского так беспокоило обретение поэтом своего читателя — равновеликого ему ценителя поэзии? Потому что этот читатель постепенно нисходил с высоты духовности, духовного и нравственного подвижничества, служения общему к личным заботам, к бытовому устройству и потребительству. Нечто подобное происходило в начале XX века с утратой веры и обретением свобод — прежде всего в искусстве, что вызвало яростные атаки Бунина на модернистов и на всех «продавшихся» большевикам. То, что Твардовский давно почувствовал эту метаморфозу, реальными картинками и голосами явилось в стихах молодых. «Мне ясно и жутко было, что дело не в “таланте”, не в Евтушенко как таковом, а в той аудитории, которая жаждет чего-то “антисофроновского”, чего-то на западный образец, чего-то не казенного, и коль Евтушенко полузапретный плод, то и подай его... Это неомещанская среда с чертами несомненно буржуазного влияния послевоенной формации, “влияния”, которое только отчасти идет извне, а в основном складывается дома» [24, 33] под воздействием многих факторов. Наш дикий капитализм прошел длительную подготовку по сдаче идейных и нравственных ценностей социализма, однако на его путях Твардовский своего места не видел, но и оставаться с софроновыми и кочетовыми для него было невозможно.

*Нет, лучше рухнуть нам на полдороге,  
Коль не по силам новый был маршрут.  
Без нас отлично подведут итоги  
И, может, меньше нашего наврут.* [25, 199].

#### ЛИТЕРАТУРА:

1. Маршак С. Ради жизни на земле. Об Александре Твардовском / С. Маршак. — М., 1961.
2. Поучения солдату // Красноармейская правда. — 1943. — 13 июля. — № 167.
3. Твардовский А. Т. Собр. соч. : в 6 т. / А. Т. Твардовский. — Т. 2. — М., 1977.
4. Твардовский А. Всем существом / А. Твардовский // Красноармейская правда. — 1945. — 11 мая. — № 110.
5. Твардовский А. Из послесъездовских записей / Из рабочих тетрадей (1953–1960) // Знамя. — 1989. — № 8.
6. Знамя. — 1989. — № 8.
7. Выступление на X пленуме правления СП // Литературная газета. — 1945. — 17 мая. — № 21.
8. Выступление на XI пленуме правления СП СССР // Литературная газета. — 1947. — 4 июля. — № 27.
9. Твардовский А. Большой год советской литературы / А. Твардовский // Литературная газета. — 1947. — 16 августа. — № 34.
10. Твардовский А. Поэзия и народ / А. Твардовский // Собр. соч. : в 6 т. — Т. 5. — М., 1980.
11. Выступление на XI пленуме правления СП СССР // Литературная газета. — 1947. — 12 июля. — № 29.
12. Выступление на заседании Всесоюзной комиссии по работе с молодыми авторами при СП СССР // Литературная газета. — 1947. — 13 декабря. — № 63.
13. Выступление на заседании редколлегии «Литературной газеты» // Литературная газета. — 1948. — 17 ноября.
14. Выступление на заседании редколлегии «Литературной газеты» // Литературная газета. — 1949. — 3 января.
15. Правда искусства // Литературная газета. — 1951. — 25 марта. — № 36.
16. Твардовский А. Т. Собр. соч. : в 6 т. / А. Т. Твардовский. — Т. VI. — М., 1983.
17. Твардовский А. Т. Собр. соч. : в 6 т. / А. Т. Твардовский. — Т. V. — М., 1980.
18. Знамя. — 1989. — № 7.
19. Твардовский А. Т. Собр. соч. : в 6 т. / А. Т. Твардовский. — Т. I. — М., 1976.
20. Твардовский А. Думы о далеком / А. Твардовский // Красный черноморец. — 1928. — 7 октября. — № 233.
21. Абрамов А. Письма Александра Твардовского / А. Абрамов // Подъем. — 2001. — № 1.
22. Твардовский А. Письма о литературе. 1930–1970 / А. Твардовский. — М., 1985.
23. «Есть имена и есть такие даты...». Цикл публичных дискуссий «Россия в глобальном контексте». — Вып. 49 : К 100-летию со дня рождения А. Т. Твардовского. — М., 2010.
24. Твардовский А. Новомировский дневник. — Т. 1 : 1961–1966. — М., 2009.
25. Твардовский А. Т. Собр. соч. : в 6 т. / А. Т. Твардовский. — Т. III. — М., 1978.

*Акаткин В. М.  
Воронежский государственный университет.  
Доктор филологических наук, профессор кафедры  
теории литературы и фольклора.*

*Akatkin V. M.  
Voronezh State University.  
Doctor of philological sciences, professor of the  
department of theoretical literature and folklore.*